

Николай Богомолов
Другой Толстой

Писатель глазами русских символистов

Пристрастие русских символистов к творчеству Л. Н. Толстого хорошо известно. Фундаментальный труд Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» и многие работы, его дополняющие¹, основательные статьи, написанные уже после смерти Толстого Вячеславом Ивановым и Андреем Белым, воспоминания В. Брюсова и З. Гиппиус, визиты Мережковских, А. М. Добролюбова и Л. Д. Семенова к Толстому достаточно хорошо известны. Однако в статье будут рассмотрены не эти факты, а подспудная, почти не выходящая на поверхность полемика ряда символистов с Толстым, упорно шедшая до его смерти. Мы попытаемся проследить два сюжета этой полемики.

1. Валерий Брюсов

В одной из основополагающих статей об отношении Брюсова к Толстому С. И. Гиндин писал: «Читавшие брюсовский

© Nikolai Bogomolov, 2012

<http://www.utoronto.ca/tsq>

Французский вариант данной статьи (с изменениями) печатается в книге: *Un autre Tolstoï*. P., 2012.

¹ Отметим, впрочем, что Мережковский мог быть довольно критичен по отношению как к Толстому, так и к его окружению. Так, 8/21 июня 1900 г. он писал В. В. Розанову: «Что за Далай-Лама такой Лёвушка, что о нем и говорить нельзя, не ползая на коленях. Да ведь и Вы против Л. Толстого в самом важном» (Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5—6. С. 237 / Публ. А. М. Ваховской; цит. с коррективами по оригиналу: РГБ. Ф. 249. М 3872. Ед. хр. 1. Л. 6 об). Ср. его иронический рассказ о пребывании в Ясной Поляне (Там же. С. 242).

очерк „На похоронах Толстого“ <...> хорошо знают, с каким преклонением относился Брюсов к личности и свершениям Л. Н. Толстого. <...> Деятельность Толстого была для Брюсова феноменом, связывавшим современность со всей прошлой и будущей историей человечества», — и в подтверждение этих слов цитировал черновой набросок, относя его ко времени создания «На похоронах Толстого»: «Он вне школ, его эпоха — целые века, его народ — все человечество. Говоря о Льве Толстом надо забыть все сегодняшнее, все малое, надо стать на ту точку зрения, откуда обсуждается поток истории в его целом, в его главных, основных руслах»². Из той же презумпции исходил и автор обзорной статьи «В. Я. Брюсов и Л. Н. Толстой» Э. Л. Нуралов³. Нет сомнений, что для такого отношения были и есть весьма серьезные основания, к которым относятся: проанализированные С. И. Гиндиным брюсовские оценки «Хозяина и работника» и «В чем моя вера», дневниковые записи относительно чтения Толстого летом 1896 года⁴, учитываемая обоими названными авторами общая оценка «Воскресения» в дневнике Брюсова⁵, и, конечно, самое существенное — выяснение сути соотнесенности двух эстетических трактатов: «Что такое искусство?» Толстого и «О искусстве» Брюсова⁶. Материалы, предлагаемые нами, не вызывают к об-

² Гиндин С. Становление брюсовского отношения к Толстому // В. Брюсов и литература конца XIX — XX века. Ставрополь, 1979. С. 18.

³ Брюсовские чтения 1963 года. Ереван, 1964. С. 255—269.

⁴ Гиндин С. Цит. соч. С. 20—23.

⁵ Брюсов Валерий. Дневники. М., 1927. С. 80. Приведем эту запись, отметив, что она сделана не 12, как указано в печатном издании, а 18 января 1900: «Прочел „Воскресение“. Хорошо, несомненно. Это свод всего, что в разное время Толстой говорил, его завещание. Начало более обработано, в конце он изнемог под громадностью материала. Есть мелкие противоречия (не говоря уже об одновременности „декадентства“ и „Тонкинской экспедиции“ с „Отечественными Записками“»).

⁶ Помимо уже названных работ, отсылаем читателей также к следующим: Гиндин С. И. Эстетика Льва Толстого в восприятии и эстетическом самоопределении молодого Брюсова (по рукописям книги «О искусстве») // Записки Отдела рукописей / Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина. М., 1987. Вып. 46. С. 5—30; Кульбюс С. К. Несколько замечаний о «толстовском»

щей переоценке отношения Брюсова к Толстому, но, как кажется, вносят некоторые, и иногда довольно существенные уточнения.

Начнем в хронологическом порядке.

17 сентября 1895 г. Брюсов писал своему другу В. К. Станюковичу: «Ознакомился я недавно с сочинениями гр. Толстого „В чем моя вера“ и „Царство Божие внутри вас“⁷ <...> Признаюсь, я сильно переменил мнение о Толстом, составленное на основании его напечатанных философствований (например, „О жизни“) и популярных разборов. Некоторые места восхищали меня, между прочим, как филолога. Впрочем, мирозерцание мое как раз противоположно идеям Толстого, так что все восхищения мои чисто платонические. Реальный вывод из них лишь тот, что я стал с бóльшим уважением относиться к последователям гр. Толстого, которых прежде чуть-чуть не осмеивал»⁸. Обычно принято акцентировать внимание на «восхищении» и «умилении»⁹, но воспоминание о резком отвержении предшествовавших статей, слова о противоположности мирозерцания и осмеива-

слое трактата В. Брюсова «О искусстве» // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1988. Вып. 822. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. С. 63—74.

⁷ Заграничные издания (или же списки) этих книг, запрещенных в России, Брюсов получил от А. А. Курсинского, жившего в Ясной Поляне.

⁸ Литературное наследство. М., 1978. Т. 85. С. 737 / Публ. Н. С. Ашукина и Р. А. Щербакова.

⁹ Позволим себе не согласиться с мнением С. И. Гиндина о том, что «слово „умиляться“ настолько не характерно для молодого Брюсова, даже в дневнике явно чуравшегося „сентиментов“, что его употребление <...> свидетельствует о безусловно незаурядном впечатлении, произведенном на него книгой Толстого» (Становление брюсовского отношения к Толстому. С. 22). Мы готовы согласиться с выводом о «незаурядном впечатлении», но слова, образованные от названного глагола и он сам в дневниках Брюсова 1894—1896 гг. встречаются неоднократно. См., напр.: «Смотрел вчера в лицее трагедию Софокла и умилился душой» (22 апреля 1894); «Просыпаюсь умиленный...» (10 января 1896); «...начались восторги, умиления» (11 сентября 1896).

нии толстовцев оставались в тени. Как нам кажется, следует все же учитывать и те обертоны, которые здесь существуют.

По крайней мере с 1898 года Брюсов начинает записывать отрицательные суждения о личности Толстого, его проповеди, даже о несомненно интересовавших самого Брюсова произведениях. На Рождестве упомянутого года в письме к Станюковичу он сообщал: «Недавно вернулись мы вновь из Петербурга. Там на этот раз посещал я всяких поэтов. Мережковский, лежа в постели (он был болен), кричал проклятия, катался и кричал: „Левиафан! Левиафан пошлости!“ (Это не обо мне, а о Л. Толстом)...»¹⁰. В дневнике 9 декабря этот эпизод записан несколько подробнее: «После нас допустили на четверть часа к Мережковскому. Он лежал раздетым на постели. Сразу начал он говорить о моей книге¹¹ и бранить ее резко. — Ее даже бранить не за что, в ней ничего нет. Я почти со всем в ней соглашаюсь, но без радости. Когда я читаю Ницше, я содрогаюсь до пяток, а здесь даже не знаю, зачем читаю. — Зинаида хотела его остановить. — Нет, оставь, Зиночка. Я говорю прямо, от сердца, а ты ведь, хоть молчишь, зато, как змея, жалишь, это хуже... И правда, он говорил от чистого сердца, бранил еще больше, чем меня, Толстого, катался по постели и кричал, "Левиафан! Левиафан пошлости!"»¹².

В конце июня 1901 г. Брюсов делает большую запись в дневнике о беседах с Н. Н. Черногобутовым, где мы выделим такой пассаж: «Вероятно, Н. Н. заволновался так по поводу своих отношений с Толстым. Он уверял, будто графиня С. А. Толстая приглашала его в Ясн<ую> Поляну разбирать архив. Не требуя повторений этого, вероятно, мельком сделанного предложения, он поехал. Был там дней 5 и вернулся, а было что-то говорено о целом лете. Вероятно, прогнали. Дали, однако, письма Фета к Толстому. Рассказывает много

¹⁰ Литературное наследство. Т. 85. С. 746.

¹¹ Имеется в виду трактат «О искусстве» (М., 1899), реально вышедший в свет в конце ноября 1898. Брюсов получил книгу 24 ноября.

¹² Брюсов Валерий. Дневники. С. 53. Цит. с небольшим уточнением по рукописи.

интересного о жизни в Ясн<ой> Поляне, о великом лицемерии там. Слуги раболепствуют перед „его сиятельством“, просителей принимают дурно, посылают им от барского стола объедки. — „Совсем неинтеллигентный человек, — заметил гр<аф>, — не умеет объяснить, что ему нужно“. Много говорит против русского правительства. — „Только бы его к чертовой матери, и все будет хорошо“. Н. Н. отважился было вступить с Т<олстым> в спор, но это было против правил Ясной Поляны, где граф только изрекает.

— Что же вам нравится в Фете? — спросил гр<аф>.

— Да все, поэт и человек.

— Человек он был дурной.

— Почему же? Он был истинный нигилист, и если ни во что не верил, то так и говорил.

— Неумение составить себе веру показывает низкую душу.

— Однако это не так просто. „Жизнь — запутанность и сложность“.

— Ничего запутанного. Перед каждым рукоять, качай, а что выйдет, — знает Хозяин.

По словам Н. Н., говорил Т<олстой> и обо мне.

— Написал сначала в шутку; отнеслись серьезно, он и начал.

Когда Н. Н. уезжал, ему поручили отвезти одного больного мальчика в больницу. Отвез. Доктор спрашивает:

— На какие средства лечить его? Больница земская, а граф то и дело присылает с записками»¹³.

В это же самое время Брюсов решительно формулирует свое неприязненное отношение к Толстому этого периода: «Смертельно болен Лев Толстой. Ему пора умереть. Он пережил самого себя. Все надо было кончить „Воскресением“. А его теперешнее мелкое фрондерство, его игра на руку разным скудоумным революционерам его недостойны; точно так же, как и разные письма „Царю и его советникам“. Кстати,

¹³ Там же. С. 103—104. Печ. с исправлениями и добавлением по рукописи. Точная дата записи не обозначена.

по поводу Л. Т. Помнится, М. И. обвинял „Мир Искусства“, что в нем нечего читать. Неправда. В нем печатается длинная статья Д. С. Мережковского о Толстом и Достоевском, и эта статья есть явление в нашей литературе замечательное, нечто классическое и создающее эпоху. Ее надо не читать, а изучать и учить наизусть»¹⁴ И на следующий день: «Впрочем, вы мало читаете Достоевского, когда как он должен бы быть вашей настольной книгой. Собственно русская литература создала только этих четырех: Пушкин, Тютчев, Достоевский, Фет. Все остальное, не исключая Толстого и Лермонтова, „второй сорт“»¹⁵.

Здесь характерно многое, прежде всего, конечно, общая оценка нынешнего этапа жизни и проповеднических устремлений Толстого, доведенная до крайности («пора умереть»). Это и общая оценка художественного творчества Толстого как «второсортного». Это, наконец, встречающееся уже второй раз открытое сопоставление творчества Мережковского и Льва Толстого, при котором снова предпочтение отдается Мережковскому. Впервые это случилось при сравнительной оценке двух «великих произведений» 1895 года — толстовского «Хозяина и работника» и «Отверженного» Мережковского¹⁶. Но в приведенном нами фрагменте письма соотнесены все творчество Толстого — и его анализ в работе Мережковского. Как кажется, подобные оценки включает в себя явственно ощутимый элемент сравнения двух методов искусства — толстовского и символистского, и предпочтение отдается, естественно, второму.

Наконец, стоит отметить уже констатированное исследовательницей столкновение эстетических принципов двух писателей, выявившееся в театральной критике Брюсова. Статья

¹⁴ Письмо Брюсова к А. А. Шестеркиной от 6 июля 1901 / Публ. В. Г. Дмитриева // Литературное наследство. Т. 85. С. 643. Дополнено по рукописи (РГБ. Ф. 218. Карт. 128. Ед. хр. 6. Л. 13—14. М. И. — художник М. И. Шестеркин, муж корреспондентки).

¹⁵ Там же. С. 644.

¹⁶ Гиндин С. И. Становление брюсовского отношения к Толстому. С. 20—21.

«Ненужная правда» и не опубликованная при жизни рецензия «„Власть тьмы“ в Художественном театре» (обе 1902) формулируют те точки расхождения, которых невозможно не почувствовать: «...„Ненужную правду“ <...> можно рассматривать как трактат Брюсова на тему „Что такое театральное искусство?“, написанный поэтом из лагеря Метерлинка и Малларме, Толстым отвергнутых, или как ответ Брюсова Толстому и Станиславскому, увлеченному художественным мастерством и эстетикой Толстого, его идеями добра, правды, простоты и общедоступности»¹⁷.

Но, говоря все это, не забудем отметить и то, что, по свидетельству жены, относящемуся к самому началу 1906 года, «Валерий не позволяет, чтобы в его доме осуждали Толстого»¹⁸.

2. Л. Д. Зиновьева-Аннибал и Вяч. Иванов

Осенью 1885 года Лидя (как ее называли все близкие) Зиновьева, которой еще предстояло стать сперва Лидией Шварсалон, а потом и Лидией Дмитриевной Ивановой, выступавшей в литературе под псевдонимом Зиновьева-Аннибал, записывает в дневнике текст, прагматика которого осознается довольно легко, особенно если учесть, что незадолго до того она переписывает там же письмо Льва Толстого к NN. Это черновик письма к лично не знакомому ей Л. Н. Толстому, которому она, как многие, готова доверить все самое сокровенное. Правда, первым своим эпистолярным исповедником она избирает К. Д. Кавелина. Ее письма к нему мы не знаем, но сохранился и опубликован ответ философа, написанный за полтора месяца до его смерти. О судьбе этой переписки Л. Д. рассказывала: «На мою просьбу повидаться с К. Д. Кавелиным мне отвечают отказом; а когда я тайно пишу ему, мне дают его ответ в день

¹⁷ Бродская Г.Ю. Брюсов и театр // Литературное наследство. Т. 85. С. 168.

¹⁸ Цит. по: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907: Документальные хроники. М., 2009. С. 159.

его смерти»¹⁹. Вторым становится Толстой, и хотя письмо, судя по всему, отправлено не было, оно характерно своим тоном и отчаянной искренностью: «Смело обращаюсь к Вам, многоуважаемый Л. Н., с тех пор, как познакомилась с Вашим дивным христианским учением. Я уверена, что Вы дадите мне ту помощь, которую я прошу у Вас, и не оставите меня одну и бессильную перед теми страшными вопросами, которые я не могу разрешить. Может быть, это дерзко — мне, простой девушке, обращаться к великому русскому писателю и — к смелому апостолу нового святого учения; я, может быть, и не решилась бы, если бы второе ваше звание не уничтожило недоступность первого. К гениальному писателю я не решилась бы писать, к великому христианину я имею право обратиться за помощью и ожидать ее. Ради Вашего Христа, Л. Н., уделите мне частицу вашего времени, прочтите мое письмо и ответьте мне.

Мне на днях минуло 20 лет, я принадлежу к хорошей дворянской семье, мой отец очень достаточен, можно даже сказать — богат. Моя семья очень честная и по убеждениям не отсталая; мать моя верующая женщина, как веруют многие, как веровала и я в детстве. <...> Вы можете вполне себе представить жизнь доброй и убежденно верующей, честной женщины, которая относится с глубоким уважением ко всему существующему порядку, ко всем принятым правилам *истинной* житейской мудрости.

Но представьте себе тоже жизнь девушки молодой, страстной, которая с тех пор, как в первый раз оглянулась сознательно вокруг себя, почувствовала глубокий разлад между своими убеждениями и убеждениями окружающих, между идеалом своей жизни и жизни окружающих? Я была и есть именно в таком положении.

Я воспитывалась за границей, вдали от семьи, и когда я приехала 16 лет, ничто не связывало меня с родными. Мы

¹⁹ РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 4. Л. 30 об. Черновик письма к неизвестному нам по фамилии Николаю Евстифеевичу.

жили летом в деревне, настоящей барской жизни, в свое удовольствие, мать моя, впрочем, интересовалась школою, больницу, клала сотни на благо крестьян, но я чувствовала, что эти сотни кладутся из избытка, а не из скудости, и меня это смущало. <...> И тут-то впервые показалась мне неправую наша светлая, легкая жизнь, исполненная нравственными, умственными и физическими радостями. Во мне появилось еще молодое, зачаточное стремление уничтожить окружающее зло, хотя бы пожертвовав своим счастьем, и не только *хотя бы*, но даже именно *для того*, чтобы пожертвовать. <...>

Потом познакомилась я случайно с людьми молодыми, верящими в свои силы и в социалистический идеал и надеющимися перевернуть весь мир на свой лад одним кровавым ударом. <...> Я с жаром набросилась на своих новых друзей и жестоко поплатилась за необдуманность. <...>

Я хотела выйти замуж фиктивно, поступить в тайное революционное общество. <...>

В минуты увлечения, в те минуты и часы, когда я забывала всё, кроме моего святого долга освобождения мира от зла, я была истинно счастлива, потому что я сознавала себя вполне правую. Но потом наставали минуты сомнения, страха, не перед жизнью или смертию, а перед нравственною ответственностью, которую я брала на себя. <...>

И я мучилась невыразимо. Всё существо мое разделилось на две части. Одна мысль говорила: иди, жертвуй матерью, жертвуй его женою, жертвуй, главное, и собою для общего блага, ты идешь не на счастье, не на радость, ты идешь на тяжелый труд, на великое мучение.

Другая мысль шептала: жалко, жалко, жалко.

И они боролись, а я страдала.

Но вот я решилась, еще день — и я навеки рассталась бы с родительским домом, полным роскоши, и неги, и любви, но помешала мне пустая случайность; всё открылось, всё узнали. <...>

Родные подымали во мне всю женскую гордость и женскую стыдливость. Я не могла перенести, я решила застрелиться, но мой револьвер потихоньку отняли, и я пыталась резаться, но не удалось, на половине дела нашла слабость, эта смерть слишком страшная. <...>

Меня увезли, ко мне представили сторожа, шпионов домашних. Я не слышала ни одного слова любви и уважения, я чувствовала, что все вокруг глубоко презирают меня. У меня вырвали и при мне сожгли все бумаги мои и письма. Я была одна на всем свете, озлобленная, несчастная, презираемая, с душою, полное <так!> ненависти и злобы»²⁰.

И как не похожи на это письмо более поздние свидетельства об отношении Зиновьевой-Аннибал к Толстому. Хотя, собственно говоря, на долгое время имя Толстого вообще пропадает из известных нам ее документов. Лишь в 1902 г. оно снова оказывается в нашем поле зрения. 26—27 января (8—9 февраля нового стиля) 1902 г. из Женевы она пишет Иванову, находившемуся в то время в Афинах: «...взяла Толстого „Что такое искусство?“. Просмотрела почти всю статью. Наболтано, налгано необдуманно и нечестно, но 2 великие истины сказаны: Искусство — заражение и 2) Искусство должно быть понятным: grand art — Всенародное искусство <...> Перед завтраком я, Дотинька, попела экзерсисы и два романса. Потом писала и дочитывала Толстого. Мне очень пригодятся все haarsträubende чуши. Так целиком в рот дурацкого Адовратского идут»²¹. В те же дни Иванову сообщала М. М. Замятнина: «В чудном уюте. Чудная женщина сидит на кушетке своей, читает Толстого об искусстве и изливает самые отборные ругательства на него, да и стоит он их. Сейчас, не зная уж, к<a>к еще его выругать, назвала его еще „недопеченным кирпичом“». Она и представляла, к<a>к он по-стариковски все это изрекает,

²⁰ Там же. Л. 51 об—56. Текст обрывается на полуслове.

²¹ Иванов Вячеслав, Зиновьева-Аннибал Лидия. Переписка. М., 2009. Т. 2. С. 226—227. Далее мы ссылаемся на эту книгу сокращенно: Переписка. Адовратский — герой неопубликованного и даже не законченного романа Зиновьевой-Аннибал «Пламенники».

каждую секунду слышатся взрывы смеха негодующего и брани затем, и цитировка какой-нибудь тупости ограниченной. А сейчас напала на место, где нашла, что он совершенно прав, именно, что поэзия и музыка действительно не могут быть вместе соединены. Я со своей стороны и с этим не согласна, мне чудится единение»²².

Однако примерно в то же время жене писал сам Иванов, доверяя пронесшемуся слуху о смертельной болезни писателя: «Сегодня все думается о Толстом. Он должен быть счастлив, если сознает, что умирает. Вокруг умершего наверно будет смута. Вот и Толстой с Ибсеном погасли; за кем черед стать властителем дум?...»²³.

Иванов стал напряженно думать о Толстом еще в молодости. В своем так называемом «Интеллектуальном дневнике», ведшемся в 1888—1889 гг. в Берлине, он несколько раз прямо или косвенно упоминает это имя, однако суждения носят настолько абстрактный характер и настолько отвлечены от личности Иванова, что их трудно принять всерьез. Весьма глубокомысленна, например, запись: «Достоевский и Толстой два типичные выразителя русского духа. В нашем народе можно заметить это двойственное течение мысли. Но в обоих и много общего. И если это общие национальные черты нашего ума, мы мудрейший народ в мире»²⁴. Да, конечно, комментатор верно замечает, что в полном виде такое противопоставление стало обычным лишь после книги Мережковского, однако само по себе желание сопоставить двух писателей, из которых один

²² Цит по: Переписка. С. 228—229.

²³ Переписка. С. 252. Письмо от 2/15 февраля 1902 из Афин.

²⁴ Иванов Вяч. <Интеллектуальный дневник. 1888—1889 гг.> / Подг. текста Н. В. Котрелева и И. Н. Фридмана; примеч. Н. В. Котрелева // Вячеслав Иванов: Архивные материалы и исследования. М., 1999. С. 14. Подробнее об отношении Иванова к Толстому (на основании опубликованных текстов) см.: Malcovati F. Vjačeslav Ivanov e Lev Tolstoj // Contributi Italiani all'VIII Congresso Internazionale degli slavisti. Zagreb; Ljubljana, 1978. P. 229—232; Шишкин А. Б. «Толстой и/или Достоевский»: Случай Вяч. Иванова // Толстой или Достоевский? Философско-эстетические искания в культурах Востока и Запада. СПб., 2003. С. 82—99.

к тому времени уже обрел гигантскую известность, а другой принадлежал к излюбленным авторам Иванова, не несет в себе, как кажется, сколько-нибудь принципиального смысла.

И если вернуться к 1900-м годам, то чем далее, тем более мы замечаем в сравнительно немногих высказываниях Иванова о Толстом этого времени отчетливо критические ноты, особенно там, где речь идет о Толстом как религиозном мыслителе и литературной фигуре. Так, уже совсем скоро после приведенного нами выше высказывания о Толстом и Ибсене как властителях дум следует весьма скептический пассаж: «Реформа религиозного сознания необходима. Религиозный вопрос теперь в центре теоретических вопросов. Говорю не о догмате и конфессии, а о „духовной основе“, религиозной стихии жизни. Нужен мыслитель, который бы открыл глаза невидящих на вопросы веры, и слуху неслышащих сделал бы внятные ответы Духа. Толстой обманул ищущих, религию и самого себя. Люди требуют, справедливо, как *le grand Art*, так и *la grande Philosophie*. Ницше и здесь сделал *einen grossen Wurf*. До сих пор богословствует схоластика и философствует схоластика; а демократия, побеждающая, действительная демократия не признает схоластики, *und der Lebende hat Recht*»²⁵. И еще через две недели, ссылаясь на текст предисловия Толстого к роману В. фон Поленца «Крестьянин», Иванов пишет: «...читала ли ты новую нахальную выходку Толстого в виде сжатой характеристики поэтов и других, как Ницше? Что последний „груб и безнравствен“, сказать легче, чем что он „нравствен и тонок“. Упрек за то, что забывают, говоря о поэтах, Тютчева, показывает, что великий самодур земли Русской не обижен от Бога даром чуткости. Но какая беспшибательность заносчивости в таких утверждениях, как: Фет — сомнительный поэт, Ал<ексей> Толстой — прозаический стихотворец, Некрасов — вовсе лишен поэтического дара и т. д. <...> Пушкин никогда не позволял себе произвола и своенравия, —

²⁵ Переписка. С. 349. Письмо из Афин от 26—27 февраля / 11—12 марта 1902.

хотя и не все угадывал, как бы мы ожидали: кажется, например, что ценимый им Гоголь все же не был им оценен в меру его еще скрытой силы»²⁶.

Но высшего напряжения достигает его отвержение Толстого к 1906—1907 гг. Так, в письме к жене он говорил: «Забыл упомянуть, что Бакст при Серове рассказал, что Лев Толстой высказался обо мне. Напечатали где-то чье-то с ним interview. Он назвал всех новых поэтов „прыщами“ на русской литературе, кроме некоего Ратгауза (который пишет, говорят, какие-то старомодные банальности о звездах и волнах, вдохновлявшие уже Чайковского), и когда его спросили обо мне, он сказал, что не понимает ни слова в моих стихах. Heil dir im Siegerkranz²⁷, „великий писатель земли русской“!»²⁸

И еще через год М. М. Замятина заносит в свой дневник: «Вячеслав переоценивает ценности — все трещит. Поэзия и русская и всеобщая низвергается. Пушкин пережит — невыносимо холоден и искусствен, нет поэтической непосредственности. В русской литер<атуре> есть только гениальные начинающие Достоевск<ий> и Лерм<онтов>. Тютчев <так!> гениальная бездарность. Пушкин всюду скучный моралист. Толстой понял, что литература <пропуск> и отказался от искусства. И литерат<ура> и скульптура — шарлатанство — музыка тоже. Только живописцы должны быть честны»²⁹. Это хорошо увязывается с высказываниями Иванова 1920-х годов, например: «...таков Толстой, <...> и как он мне чужд. <...> И в противоположность Гомеру, всем вещам говорящему „Да“, Толстой всему говорит некое „Нет“, отбрасывая на все явления мира

²⁶ Там же. С. 404. Письмо из Афин от 15/28 марта 1902.

²⁷ Слава тебе в венце победителя (нем.). Слова германского национального гимна. Приносим благодарность К. М. Азадовскому за помощь в определении источника цитаты.

²⁸ Письмо от 14/27 августа 1906 из Петербурга в Женеву // РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 3.

²⁹ Запись от 23 июня 1907. Цит. по: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903—1907. С. 208.

ть»³⁰. Или по-другому: «Без сомнения, влияние Толстого-художника на русскую литературу в высшей степени значительно, чего нельзя сказать об его стиле или языке, взятых отдельно, даже если речь идет об его народных рассказах. Его синтаксис неправилен и лишен оригинальности. Лексика, которой он пользуется, не отличается ни новизной, ни исключительностью. Русский <литературный> язык он не усовершенствовал и даже не обогатил его сколько-нибудь существенно элементами народной разговорной речи»³¹.

Но вместе с тем всего лишь через полгода после того, как Иванов произносил слова, зафиксированные дневником Замятниной, он сообщал Брюсову: «Мне поручено Временным комитетом (Comité d'Initiative) по устройству всероссийского и международного чествования Льва Толстого в этом году (28 августа или позднее) известить тебя, что ты кооптирован Комитетом, и пригласить тебя высказаться, принимаешь ли ты избрание и согласен ли участвовать в работах Комитета по предварительной разработке и практическому осуществлению мер, долженствующих быть принятыми с целью организации предстоящего международного праздника русской мысли и литературы и придания ему соответствующего замыслу величия»³². Незадолго до того он и сам был кооптирован в этот комитет, которому не суждено было практически действовать, но само согласие стать членом организации, созданной для чествования Толстого, очень показательно. Напомним, что после смерти Толстого Иванов пишет статью «Лев Толстой и культура», которую печатает сначала в «Логосе», потом в «Бороздах и межах», — одним словом, у нас есть все основания поверить записи М. С. Альтмана его слов: «...я грешен в непочтительном отношении к Толстому, и это развязы-

³⁰ Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., [1995]. С. 54.

³¹ Из письма к О. А. Шор от 22 ноября 1928 // Archivio italo-russo. Vjačeslav Ivanov — testi inediti / A cura ai Daniela Rizzi e Andrej Shishkin. Salerno, 2001. P. 334 (приводится перевод с итальянского).

³² Письмо от 14 января 1908 г. // Литературное наследство. Т. 85. С. 508.

вает мне руки, хотя я знаю, что эта вина на мне и что я обязан его почитать»³³.

3. Общие выводы

Как нам представляется, прослеживание эволюции отношения Брюсова и Иванова к Льву Толстому как к писателю, мыслителю, учителю жизни демонстрирует одну весьма яркую особенность: внешнее, зафиксированное печатными текстами почитание далеко не всегда находит подтверждения в дневниках, письмах и мемуарах. Для многих символистов Лев Толстой существует в двух планах: с одной стороны — общепризнанный классик, а с другой — современник, к которому можно и должно предъявить довольно жесткие претензии: весьма ограниченный в своих воззрениях автор, лицемер в жизни, которому самое время убраться из текущей литературы. И здесь-то, пожалуй, коренится наиболее существенная особенность отношения двух интересующих нас писателей к своему великому современнику: он стоит у них на пути, мешает литературному успеху, причем мешает не по известной формуле, сохранившейся в воспоминаниях Ахматовой о Блоке: «...я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: „Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой“»³⁴. Лев Толстой мешал и Брюсову и Вяч. Иванову вполне конкретно, как фигура живой литературы и литературной жизни. Начиная с появления «Воскресения» и приблизительно до 1907 г. вольно или невольно они вынуждены считаться с его существованием, с новыми его произведениями, статьями, известиями, исходящими от других и становящимися достоянием печати. В наибольшей степени это ощутимо, конечно, в истории с брюсовским «О искусстве», когда

³³ Альтман М. С. Цит. соч. С. 71.

³⁴ Ахматова Анна. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 196.

он был расстроен и обескуражен до того, что пошел на опрометчивый шаг, осмеянный многочисленными критиками, — произнес в предисловии: «И Толстой, и я». Прозаические замыслы не могли не восприниматься на фоне толстовской прозы, собственные оценки соотносились с толстовскими, и так далее. Не в меньшей степени такая внутрилитературная напряженность относилась и к Иванову: Толстой преграждал ему путь к тому, чтобы самому сделаться экстраординарной фигурой всей культурной жизни России уже во второй половине 1900-х годов. Но первый год «Башни», сделавшейся в Петербурге явлением столь же значительным, как во всей России была Ясная Поляна; ряд принципиальных статей в «Золотом руне» 1907—1908 гг., возможности «Аполлона» и дискуссии о символизме в конце 1909 и начала 1910 гг. не могли не восприниматься Ивановым как безусловное утверждение на первом месте в русском символизме, а через это — и во всей русской литературе. Толстой был преодолен и побежден.

Именно из такого отношения, как кажется, проистекает время от времени эксплицируемое в частных или полупубличных высказываниях отрицание символистами значения Льва Толстого для современности.